

I

— Да, да, сударыни, можете качать головой, сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

— *In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto*¹, — пропела Констанца с вызывающим видом.

— *Амен*², — хором подхватили все остальные девочки.

— Скверный злока, — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым, морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

— Не по адресу! — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападкам нескольких поколений юных особ женского пола. — И все-таки, — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, — эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка — не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела...

— Значит, это я!

— Нет, я!

— Вовсе нет, я!

— Я!

— Я! — закричали разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.

¹ Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (*лат.*).

² Аминь (*лат.*).

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности — к тысяче седых, жестких и колочих завитков его профессорского парика), — маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрастный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он — всегда такой скупой — только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.

— Консуэло? Испанка? — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

— Консуэло, — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, — иди сюда, моя хорошая, и спой мне «*Salve, Re-*

gina» Перголезе, которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

— Хорошо, дочь моя, — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. — Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами.

— Sì, signor professore¹, — ответила Консуэло. — А теперь мне можно уйти?

— Да, дитя мое. Девушки, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги — неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, — которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихшим ученицам.

¹ Хорошо, синьор профессор (*ит.*).

— Стыдно вам, красавицы! — сказал он. — Эта девочка — а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней — только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть *понимание!*

— Не мог не выпалить своего любимого словечка, — крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. — Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

— Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? — сказала Джульетта. — Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

— Мне говорили, что ее мать цыганка, — добавила Микелина, — и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.

— Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, — сказала красавица Клоринда, — я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

— Вы потеряли бы не так уж много! — возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

— Она совсем нехороша собой, — добавила еще одна. — Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе не выразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет, бесспорно: она дурнушка.

— Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой «панегирик» в честь Консуэло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которую

он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех *школ*, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие «для замужества или для поступления в монастырь», как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои. На твоём месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебречь священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.

Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы

его у народа Израиля или у еще более древних народов, но она принадлежала к потомкам Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для *zingarelle*¹. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной *ebbre*². Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна, чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности.

Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для ее возраста, и это придавало длинноногой четырнадцатилетней девочке особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Быть может, ее ножка была мала, но этого никто не знал — до того дурна была ее обувь. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости форм, без всякой соблазнительности. Бедная девочка и не думала об этом, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной», «лимоном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой оригинальности, правда малопривлекательной. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей наружности и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдающая от общего неодобрения, завидует и злобствует, — это и есть настоящая, истинная некрасивость, другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, — подобная некрасивость, радуя взора, может привлекать сердца: такую именно и была не-

¹ Цыганок (*ит.*).

² Еврейки (*ит.*).

красивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему смущенный и в то же время смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.

Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый молодой синьор вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

— Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «*Salve, Regina!*»!

— А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? — спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

— Для того чтобы вас поздравить, — ответил молодой человек. — Я давно уже слежу не только за вашими вечерними службами, но и за вашими занятиями с ученицами, — вы ведь знаете, какой я горячий поклонник церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.

— Клянусь Богом, это так, — проговорил профессор с самоудовольной важностью, насладившись в то же время большой поношкой табаку.

— Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг, — настаивал граф. — Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, а солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, так возвышенна, так сурова, что редко кто из них может передать всю ее красоту...

— Они не могут передать эту красоту, потому что не чувствуют ее сами, — с грустью промолвил профессор. — В свежих, звучных,

сильных голосах, слава богу, недостатка у нас нет, а вот что до музыкальных натур — увы, они так редки, так несовершенны...

— Ну, одна-то у вас есть, и притом изумительно одаренная, — возразил граф. — Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее наконец!

— А ведь правда, она доставила вам удовольствие? — спросил профессор, избегая ответа.

— Она растрогала меня, довела до слез... И при помощи таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.

— А что же такое я вам говорил? — торжествуя спросил маэстро.

— Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве — это простота, — ответил граф.

— Я упоминал вам также о *блеске, изысканности и изошренности* и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

— Конечно. Однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица — она одна — стоит по ту сторону пропасти, а все остальные — по эту!

— Это верно и к тому же хорошо сказано, — потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

— Ну а ее имя? — настаивал граф.

— Чье имя? — лукаво переспросил профессор.

— Ах, боже мой! Да имя сирены или, вернее, архангела, которого я только что слушал.

— А для чего вам это имя, граф? — строго спросил Порпора.

— Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?

— Я объясню вам причину, если вы предварительно откроете мне, почему так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

— Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?

— Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекае-

те к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня завтра у вас ее, в свою очередь, может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы... Вот где истина, господин граф. Сознаться, что я сказал правду.

— Ну а если бы и так, дорогой маэстро, — возразил граф, улыбаясь, — какое зло усматриваете вы в этом?

— А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.

— Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?

— Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель; я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы — к игривым песенкам, от алтаря — к подмосткам, от великого — к смешному, от Аллегри и Палестрины — к Альбиниони и к цирюльнику Аполлини?

— Итак, вы настолько непреклонны, что отказываетесь открыть мне имя этой девушки, хотя я не могу иметь на нее никаких видов, пока не узнаю, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

— Решительно отказываюсь.

— И вы думаете, что я не открою его сам?

— Увы! Раз уж вы задались этой целью, вы откроете его, но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.

— Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: я видел ваше таинственное божество, я его угадал, узнал...

— Вот как! Вы убеждены в этом? — недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

— Глаза и сердце открыли мне ее, и в доказательство я сейчас набросаю ее портрет: она высока ростом — это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, — бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые

волосы, синие глаза и приятная полнота. На одном пальчике она носит колечко с рубином, — прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

— Браво! — насмешливо воскликнул Порпора. — В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы — Клоринда. Идите же к ней с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам, а дерзкие взгляды — возвышенному уму.

— Неужели я так ошибся, дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? — с некоторым смущением проговорил граф.

— А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? — лукаво спросил маэстро.

— Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я бы еще мог обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

— Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

— Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчухи; не мой ли это питомец Андзолето, самый смысленный и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и выдающиеся способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас позаниматься с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представляю тебя знаменитому маэстро Порпоре.

Андзолето вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались, в то время как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют *fiore di mare*¹. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки,

¹ Морскими цветами (*ит.*).

сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и, в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их на нитку попеременно с золотистым бисером, подошел к графу и по местному обычаю поцеловал ему руку.

— В самом деле, красивый мальчик! — проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. — Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для его лет делом; ведь ему, наверно, лет восемнадцать?

— Скоро будет девятнадцать, *signor professor*¹, — ответил Андзолето по-венециански. — А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.

— Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, — проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолето к своей ученице.

— О, это не для меня, господин профессор, — ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника, — это ожерелья для продажи, чтобы купить потом рису и кукурузы.

— Она бедна, и ей еще приходится кормить свою мать, — пояснил Порпора. — Послушай, Консуэло, — сказал он девочке, — когда вам с матерью придется туго, обращайся ко мне, но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?

— О, вам незачем запрещать ей это, *signor professor*, — с живостью возразил Андзолето. — Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.

— Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! — сказал граф.

¹ Господин профессор (*ит.*).

— Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я делюсь с этой девочкой.

— Она твоя родственница?

— Нет, она чужестранка, это Консуэло.

— Консуэло? Какое странное имя, — заметил граф.

— Прекрасное имя, синьор, — возразил Андзолето, — оно означает «утешение»...

— В добрый час! Как видно, она твоя подруга?

— Она моя невеста, синьор.

— Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.

— Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэля.

— В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.

— О, мы подождем, — проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы, затем профессор велел Андзолето прийти к нему на следующий день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

— Как вы находите эту девочку? — спросил профессор графа.

— Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу «В глазах восемнадцатилетнего мальчика каждая женщина красавица».

— Прекрасно, — ответил профессор, — теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная красавица — Консуэло.

— Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький кузнецик? Быть не может, маэстро!

— Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она будет соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул:

— Праведное Небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности таких дурнушек!

— Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений? — спросил профессор.

— Разумеется.

— Вы обещаете мне это? — добавил Порпора.

— О, клянусь вам! — ответил граф.

III

Рожденный под небом Италии, возвращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзолето, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилетний красавец-юноша, беспрепятственно проводивший целые дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Венеции, разумеется, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истаскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а чувственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием Мадонны; и, чтобы поупражнять свой голос, он стал петь с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо, собирая ракушки: он — для еды, она — чтобы делать из них четки и украшения; встречались и в церквях, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная как и почему, сделался ее другом и постоянным спутником. До сих пор Андзолето знал в любви одно лишь наслаждение. К Консуэло он испытывал чувство дружбы, но, будучи сыном народа и страны, где страсти довлеют над привязанностями, не сумел дать этой дружбе иное название, кроме любви. Когда он заговорил об этом с Консуэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит ты хочешь на мне жениться?» На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся».

С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолето любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом. Несомненно одно: юное сердце Андзолето уже знало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые нарушают покой людей пресыщенных и вносят разлад в их существование.

Предоставленный своим бурным инстинктам, стремясь к наслаждениям, любя лишь то, что могло дать ему счастье, и ненавидя все, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, то есть жаждая жить и ощущая жизнь с необычайной остротой, он

пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделением, он время от времени сходил с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойно, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать, как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзолето забавлялся с ней детскими играми как мальчик, но в то же время свято уважал ее четырнадцать лет как мужчину и вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции, жизнь такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была жизнь Павла и Виргинии в померанцевых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительных нежных матерей, которые заботились бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем в открытой лодке, без весел и руля; без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману; до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы, забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они с пылким вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея ни малейшей возможности по-настоящему нарядиться: он — вывернув наизнанку старую куртку, она — прицепив себе на голову пышный бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца, уплетая «морские фрукты»¹, стебли укропа и лимонные корки. Словом, не

¹ Разные сорта дешевых ракушек, любимое кушанье простого народа в Венеции. (Примеч. авт.)

зная опасных ласк, не чувствуя себя влюбленными друг в друга, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Андзолето появлялись новые любовницы. Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. А он, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, свободной от всяких тайн и угрызений совести.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих *маленьких музыкантов*. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Андзолето, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им от ученика: прежде всего — серьезного и терпеливого склада ума, затем скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец, отсутствия какого бы то ни было предварительного музыкального обучения. «Не хочу даже и слышать об ученике, — говорил он, — чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый отпечаток. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, хоть Порпора и признал необычайные способности юного Андзолето, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь подвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы *затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности*.

Граф направил своего питомца к профессору Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группето, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Андзолето исполнилось двадцать три года, он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-Самуэле на первых ролях.

Однажды вечером все аристократы-любители и все самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем, решающем испытании. Впервые в жизни Андзолето сбросил свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои прекрасные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, набрал в легкие воздух и с присущими ему смелостью и честолбием ринулся со своим грудным *до* на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой — свисток.

Нечего говорить, что Андзолето волновался в душе, но его волнение почти не было заметно; его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу, и едва лишь до него донесся одобрителный шепот любителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легкостью вокализации, как радость и надежда переполнили все его существо. Андзолето, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный, и, в восторге от сознания своего успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, вкус его не всегда был тонок, а исполнение на протяжении всей арии не всегда безупречно, но он всякий раз исправлял свои промахи смелостью приемов и порывами вдохновения. Он не передал те эффекты, о которых мечтал композитор, но нашел новые, о которых никто не думал — ни автор, их создавший, ни профессор, их истолковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Эти дерзкие находки захватили и увлекли всех. За один новый оттенок ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства — десять нарушений методы. Так в искусстве малейший проблеск таланта, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет людей быстрее, нежели все заученные, общеизвестные приемы.

Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, что именно вызвало такой энтузиазм, но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей много аплодировали, но успех молодого дебютанта настолько затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и комплиментами, Андзолето вернулся к клавесину, около

которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почти-тельно и вместе с тем смело:

— Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?

Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва достаивала взглядом, — какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного юношу? Теперь наконец она его заметила и поразилась его красоте. Его огненный взор проник ей в душу. Победенная, очарованная, она в свою очередь бросила на него долгий многозначительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзовето покорила всех своих слушателей и обезоружила самого грозного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только на сцене, но и в администрации театра, и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.

IV

В этом взрыве единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерою дебютанта, только один из слушателей — он сидел на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, — оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время как его учтивый коллега профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзовето, позировал перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к догарессе, понемногу разъехалось и у клавесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строгому маэстро.

— Дорогой профессор, — сказал он, — вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно раскрылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

— Послушайте, *signor professor*, — сказала по-венециански прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в *scuola*¹, — я хочу вас просить об одной милости...

— Прочь, несчастная! — с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. — Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.

— Он уже смягчается, — проговорила Корилла, одной рукою взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теревить пышный белый галстук профессора... — Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения во всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе.

— Вы были очень строги ко мне, господин профессор, — проговорил Андзолето, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. — Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор. И если это не удалось мне сегодня, то не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей аناфемы.

— Мальчик, предоставь женщинам медоточивые, лукавые речи, — сказал профессор, стремительно поднимаясь с места и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, — не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, робкий; вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слугачей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил! Но послушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Изображая

¹ Школе (*ит.*).

страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь... гениальность!.. Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого, талант твой будет бесплоден... Я прочитал в твоих глазах, в глубине твоей души: у тебя нет преклонения перед искусством, нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог... ты смог бы... но нет... слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно...

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, поглощенный, очевидно, дальнейшим обдумыванием своего загадочного приговора.

Хотя присутствовавшие и пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее несколько мгновений все испытывали тягостное ощущение чего-то печального, тревожного... Андзолето, по-видимому, первый перестал думать об этом, несмотря на то что слова профессора вызвали в нем радость, гордость, гнев и смещение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее, и, быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра — не потому, что был *жаден к богатству*, а потому, что был, как говорится, истым *фанатиком изящных искусств*. По-моему, это слово определяет весьма распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное. *Культ искусства* — выражение слишком современное, неизвестное сто лет назад, — означает совсем не то, что *вкус к изящным искусствам*. Граф был человек с *артистическим вкусом* в том смысле, как это тогда понимали: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился

заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, — показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра — это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику! Когда иностранцам случалось расспрашивать профессора Порпору о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи гости начали расходиться.

— Андоло, где ты живешь? — спросила дебютанта Корилла, оставшись с ним вдвоем на балконе.

При этом неожиданном вопросе Андолето покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости.

— Что ты нашел такого удивительного в моем вопросе? — смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андолето поспешил ответить:

— Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы достоин приютить исполненного гордости смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кориллы?

— Что ты, льстец, хочешь этим сказать? — возразила она, устремляя на него самый жгучий взгляд, какой ей удалось извлечь из своего дьявольского арсенала.

— Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был этим счастливецом, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам.

— Или подобно *cissali*!¹ — громко смеясь, воскликнула певица.

Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбал-

¹ Морским чайкам (*ит.*).

мошного человека, как французская — к жуку: «Легкомыслен, как жук».

— Насмехайтесь надо мной, презирайте меня, — ответил Андзолето, — только думайте обо мне хоть немного.

— Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами, — возразила она, — то я уважу тебя в своей гондоле, и, если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.

— Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора! В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца.

— Ну так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас, — проговорила Корилла, понизив голос, — а то как бы Дзустиньяни не рассердился на меня за то, что я с такой снисходительностью выслушиваю твой вздор.

В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолето тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того как Корилла появилась на лестнице, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла всемогуща, — говорил он себе, — но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легкомысленную любовницу и она потеряет свое могущество?»

И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолето, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее по венецианскому обычаю до гондолы, поддерживая под круглый локоть.

— А вы что тут делаете? — обратился к растерявшемуся Андзолето гондольер примадонны. — Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой идет сам граф.

Андзолето, не сознавая хорошенько, что он делает, забился в глубину гондолы. Он совсем потерял голову. Но, оказавшись внутри, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с любовницей в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более

пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рудалды, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши.

Андзолето, не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал:

— Раз поют, значит вам надо сидеть смиренно и ждать без страха.

«Я еще не знаю этих обычаев», — подумал Андзолето и стал ждать, не совсем, впрочем, отделившись от своих мучительных опасений. Корилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Уже стоя на носу, она не переставала посылать ему пожелания *felicissima notte*¹ до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.

— Какова Корилла? — говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго. — Даю голову на отсечение — она не одна в гондоле.

— А почему вам могла прийти в голову такая мысль? — спросил Барбериго.

— Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.

— И вы не ревнуете?

— Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант — это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистовства?

— Понимаю. Но кто же, однако, счастливый любовник этой взбалмошной принцессы на сегодняшний вечер?

Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолето был единственный, о ком они не подумали.

¹ Счастливой ночи (*ит.*).

СОДЕРЖАНИЕ

КОНСУЭЛО. <i>Перевод А. Бекетовой</i>	5
Комментарии. <i>Г. Соловьева</i>	814